

и многих других, кто «мерой и числом» познавали и воссоздавали мир.

Пусть же, товарищи, эти воспоминания из далекого прошлого о моих замечательных учителях, которые меня учили, которые мне прививали, как мне кажется, правильные взгляды на значение и роль ученого и учителя, пусть же эти воспоминания послужат для меня оправданием того, что я задержал так долго на этом ваше внимание. Эти воспоминания всегда являлись для меня приятной данью стенам старого Московского университета, и пусть же традиции этого университета: свобода научного исследования, творческая напряженность, пусть же они больше распрут и зреют в стенах славного нового Московского университета, который, будем надеяться, с полным успехом и блеском будет продолжать славные традиции своего предшественника.

Да здравствует, товарищи, наша русская советская наука!

Да здравствует наша советская культура!

Да здравствует рассадник этой культуры и этой науки наш славный Московский университет!

Да здравствует наша высшая инженерная школа, с которой мне пришлось с такой пользой для себя соприкоснуться в ЦАГИ, а еще позднее и более устойчиво – в стенах нашей славной Военно-воздушной академии, которая является, кажется, одним из первых новых научных творений после Октябрьской революции!

Да здравствует наша великая, славная, непобедимая Родина, и пусть она идет впереди всех наций напряженностью своих исканий, смелостью своих научных построений!

Vivat, crescat, floreat! Да здравствует, растет, процветает!

5.2. Н.Н. Лузин о себе и о других

История появления следующего документа довольно любопытна. Спустя четверть века после кончины Н.Н. Лузина благодаря стараниям преподавателя Астраханского пединститута Н.Г. Ованесова было опубликовано неизвестное ранее письмо Н.Н. Лузина – ответ, в котором он рассказал о себе. Вот полный текст этого уникального письма.

ПИСЬМО АКАДЕМИКА
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА ЛУЗИНА¹

Москва Сретенский бульвар, д. 6/1, кв. 105
6 янв. 1948

Глубокоуважаемый и дорогой Николай Гаврилович!

Простите, что столь замедлил ответом на Ваше письмо от 13-го декабря, глубоко меня тронувшее: эти недели мне сильно нездоровилось. Ваше письмо такого рода, что на него отвечают с полным вниманием, и я постараюсь сказать Вам, что смогу.

Прежде всего, не ищите моих биографических данных в печати. Их просто нет, я думаю. Время теперь столь горячее, и оно столь быстро идет – не только для Вашей юности, но и для моего возраста – что всякая остановка в пути является помехой. А биография всегда есть остановка.

Однако Академия Наук СССР в целях, чтобы наши имена не стерлись, все же сделала распоряжение об описании жизни и трудов каждого из нас. Меня «описывали» двое из моих учеников: проф. Дмитрий Евгеньевич Меньшов и проф. Петр Сергеевич Новиков. Оба они – мужи достойные и сильные – взяли, каждый по одной моей «половинке»: первый – метрическую часть Теории функций действительного переменного, второй – ее дескриптивную часть. Список моих научных работ был totalmente прослежен по обзорам и непосредственным поиском по различным библиотекам. Что же касается до данных моей биографии, то здесь я уже проследил за писанием Д. Е. Меньшова и П.С. Новикова: чтобы они не очень-то увлекались.

Таким образом, биография вышла совсем схематическая: что и требовалось иметь. Вроде тех curriculum vitae – жизнеописаний, которые уже и Вам, вероятно, приходилось давать в различные учреждения по разным поводам или еще предстоит многократно давать. Сейчас эти материалы направлены Президенту Академии Сергею Ивановичу Вавилову, потом поступят в печать, и потом я буду иметь удовольствие прислать лично Вам экземпляр всего этого, Николай Гаврилович.

¹ Сборник научно-методических статей по математике. Вып. 3. 1973 (см. электронный ресурс: <http://www.ihst.ru/projects/sohist/news/2007/1029-31.htm>).

Я прекрасно понимаю, что именно движет Вами и Вашими учениками: это – желание знать о генезисе моей научной личности, из каких элементов она возникла, как постепенно слагалась, как проявилась, для меня самого и для окружающих, как крепла и развивалась и какие факторы, внутренние и внешние, содействовали этому. Ведь я верно угадал, не правда ли?

Так вот, ЭТОГО Вы не найдете нигде, ни относительно меня, ни относительно других. А между тем я с понейшим уважением и пониманием отношусь к этому желанию, так как знаю, что не праздное любопытство движет юными умами, когда они домогаются ЭТОГО, а желание почувствовать биение научной зарождающейся жизни у других, с тем чтобы сравнить с этим и себя самого, в целях, чтобы ПОНЯТЬ САМОГО СЕБЯ и прavильno оценить те могущественные интеллектуальные порывы, которые представляются НЕОСОЗНАННЫМИ и СОВЕРШЕННО ТЕМНЫМИ для юного ума, впервые вступающего в жизнь. Правильно говорили античные мыслители, что правило «ПОЗНАЙ САМОГО СЕБЯ» – есть важнейшее из всех правил. Но только они относили его к состоянию зрелости ума, а не к пробуждающемуся к жизни юному интеллекту. А между тем это последнее как раз неизмеримо важнее, ибо прavильno понятые юным умом свои собственные порывы, устремления, желания и надежды делят в дальнейшем человека даровитость, талант и гений. Все это зависит не от мифической «моши» ума, которую – неправильно и грубо – иногда понимают, как своего рода мотор в голове, но от прavильного понимания себя самого в отношении своих вкусов и стремлений. Понять самого себя – это значит пробудить себя к творческой жизни, родиться в творческую жизнь. На этом пути сколько встречается недоразумений, непонимания, страшных роковых для жизни ошибок и, наконец, прямого невежества!

Средний интеллигент не знает и не понимает здесь многого. Наиболее правильno данная классификация возрастов человеческой жизни принадлежит античным римлянам. Вот эта классификация: «Puer», т.е. «мальчик» до 20 лет, «juvenes», т.е. «юноша» до 40 лет, «vir», т.е. «муж» до 60 лет, и «señor», т.е. «старик» от 60 лет. Эта классификация – общая, т.е. относится более к исполнению гражданских обязанностей, чем к искусству и науке. В этом последнем отношении, в условиях современной

культуры, должно быть внесено некоторое дополнение (не изменение). В музыке интеллект осознает себя раньше всего: около 15 лет. Склонность к физике, химии начинает осознаваться около 20 лет. Около того же времени человек чувствует себя натуралистом. В математике интеллект осознает себя полностью лишь около 40 лет (т.е. понимает свое призвание и понимает то, что в выборе математики им не было сделано ошибки). В философии органическое понимание своих сил и призываия прописывается знание страстей и целей). Повторяю, пробуждение ума для той или иной области есть дело не столько этого ума, сколько самой той области, в которой он пожелал жить и работать. И именно поэтому-то мне столь ясны и для меня так конны желания Ваппи и Ваплих учеников иметь раскрытым научный путь той или другой личности. Ведь верно я Вас понял, не правда ли?

Так вот, этих-то данных как раз и нельзя найти в печати, и не только касательно меня лично, но и всякого другого! Почему? – спросите Вы. Право, не знаю. В печати этого не делают. Но в УСТНОМ ПРЕДЕДАНИИ это дается, и ЭТО как раз и составляет то, что называют ЖИЗНЬЮ ШКОЛЫ. И, прибавлю, это-то и есть важнее всего, а не те печатные мемуары, журналы, книги, которые можно купить везде. Представьте себе только, что – преодолев пространство и время – Вы, войдя в Ваш городской сад, могли бы увидеть Аристотеля, прогуливающегося по аллее со своими учениками, и, вмешавшись в их толпу, слышать его рассуждения, непосредственно опущать все движения его ума, прикасающегося к вещам, слышать его голос, видеть его жесты. Разве ЭТО не дало бы Вам бесконечно больше, чем все скучные и длинные изложения, которые Вы можете прочесть в бесчисленных курсах по истории философии? Книги никогда не преодолевают пространства и времени.

Я много читал, изучал и думал. Но, уверяю Вас, все это не стоило и четверти того, что я понимал, видел и чувствовал, со-прикасаясь всякий раз с какой-либо могущественной живой математической школой. У нас есть несколько прекрасных математических школ, в разных городах, ищущих в различных математических направлениях. И следует со всемо силою подчерк

нуть, что, чем старее школа, тем она ценнее. Ибо школа есть совокупность накопленных веками творческих приемов, традиций, устных преданий об отшедших учениках или ныне живущих, их манере работать, их взглядах на предмет исследований. Эти устные предания, накапливающиеся столетиями и не подлежащие печати или сообщению тем, кого считают не подходящим для этого, – эти устные предания суть сокровища, действенность которых трудно даже представить себе и оценить. В недрах старой школы даже от природы «несильный» человек делает важнейшие вещи. Здесь личность члена школы неотделима от целого – школы, т.е. от совокупности составляющих ее математиков, как отшедших, так и ныне живущих и действующих.

Если искать каких-либо параллелей или сравнений, то возраст школы, накопление ею традиций и устных преданий есть не что иное, как энергия школы, в явной форме. Ленинградская школа (прежде: петербургская) у нас самая старая и самая крепкая. Московская – моложе и потому слабее: устных преданий у нас, в Москве, меньше, чем в Ленинграде. Но есть, вообще, школы, насчитывающие почти тысячу лет и ведущие счет от Альберта Великого (Albertus Magnus, 1193–1280 г.). Немецкая школа совсем молодая, насчитывающая не более 185 лет, и потому менее всех интересная. Вообще, молодая школа может блестеть именами, но эти люди не славны, каждый из них изолирован, и, как правило, школа лишена большой силы. А высокая индивидуальность отдельных деятелей такой школы ведет к появлению центробежных сил, взаимного соперничания и развитию неприязненных отношений, что окончательно ослабляет целое.

Когда я, сибиряк из города Томска, впервые попал в недра большой школы, у меня создалось странное ощущение. О носителях простираемых имен говорили в таком тоне, как будто бы к нам можно было пойти на чашку чая, хотя уже столетие или два столетия, как они умерли. Их идеи, их образы, их манера мыслить буквально висела в воздухе, и для меня само время стало исчезать. Я перестал порою понимать, идет ли речь о лице, которое еще читает лекции, или он член плеяды блестящих имен, давно отошел. Грань времен стерлась, и я, через посредство живых, вступил в столь же живое общение с отошедшими. Чувство

было очень странное, непривычное и поражающее. И здесь-то мне стало ясным, почему поляк, прекрасно владеющий французским языком, не задумываясь говорил и пишет: «Soit E un ensemble de la puissance du continu», – тогда как француз никогда таким образом не выразится и напишет: «Soit E un ensemble ayant la puissance du continu». Тысячетлетняя давность школы, от Альберта Великого и Петра Абеляра, повелевает никогда не склонять слово «мощность». Для француза нет понятия, адекватного слову «мощность». Это слово для француза пустое место, дырка, X – природа которого, со временем, выявится. Юные же деятели Варшавской школы (вернее: деятели юной Варшавской школы) простодушно употребляют слово «мощность» в родительном падеже («de la»), веря, что они разывают дальше идеи теории функций! И, потом, их новое словотворчество, их «открытие», что раз говорят: fini et infini, то надо говорить denombrable и indenombrable вместо non denombrable, – совершенно явно указывают на юный возраст Варшавской школы и ее наивность.

Вы понимаете, что дело идет НЕ О СЛОВАХ, а о стоящих за ними идеях. Простите за затянувшееся письмо. Уверяю Вас, я – из своего общения со старыми школами – знаю такое, что нельзя узнать из книг, и не нужно знать. Да Вы и сами в этом убедитесь, если мы лично увидимся или если сохранится наша переписка.

Пока же скажу Вам несколько слов о себе, которых Вы не найдете в печати и что не должно никогда быть напечатанным. Родился я в Сибири, городе Томске. Глухой город, однако «столица» Сибири. Его окружала глухая тайга и вековая борьба за существование и в растительном мире, и в мире животных. Томск стоит на берегу небольшой реки «Томь». За рекою – медвежий берлоги. Я учился в «классической гимназии».

У моих сверстников был культ физической силы; вполне понятно почему: близость столь сильных зверей, как медведи, и рассказы о них заставляли видеть в физической силе высшее благо. Я был физически очень слабым (хотя и нормальным) и робким. Товарищи хотели меня приюхотить к их интересам и, злоупотребляя своею силой, достигали обратного. Я просто боялся быть в их обществе и уединялся, когда только мог. Был в Томске единственный книжный магазин, в который тогдашняя «Европейская Россия» пересыпала всякую ненужную литературу.

Я был физически очень слабым (хотя и нормальным) и робким. Товарищи хотели меня приюхотить к их интересам и, злоупотребляя своею силой, достигали обратного. Я просто боялся быть в их обществе и уединялся, когда только мог. Был в Томске единственный книжный магазин, в который тогдашняя «Европейская Россия» пересыпала всякую ненужную литературу.

туру: была полная мешаница, разбираясь в которой я быстро приохотился. Я был единственным ребенком у моих родителей. Отец – торговый служащий. Оба были полуобразованы, но все же читать и писать могли. Понимая мое отчуждение от товарищей, они предстаивали мне полную свободу действий внутри меня самого. За эту свободу – вечное им спасибо! Я рос «сам из себя», и моя голова была полна миром фантазии. Я читал буквально все, что видел на прилавке магазина, и, конечно, ничего не понимал. Я читал Канта «Критику Чистого Разума» ранее романов Жюль Верна. Книги философские больше всего меня привлекали, потому что я их не мог понять, и я искал тайного смысла их, хотел понять его, похитить его, даже «силом». Я был одинок абсолютным образом, у меня не было никого ни из товарищей, ни из взрослых, интересы которых все врашивались около охоты и вина. Жюль Верна я считаю своим учителем, так как именно он привил мне веру в науку, любовь к ней и жажду следиться инженером. Но я хорошо понимал, что без математики невозможно быть инженером. И я пожелал овладеть ею.

Учителя в Томской гимназии были очень средние люди, выбранные из недр «Европейской России» за их отрицательные качества. Учителя по математике, по геометрии особенно, заставляли учить наизусть теоремы И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА. Механической память у меня была слабая, и я стал все отставать и отставать. Учился я средне из-за «фантастики» и отсутствия механической памяти, т.е. способности «зазубривания». Я стал приносить из гимназии отметки по математике 4, потом 3, потом 2. Здесь отец нанял мне «репетитора», так как неуспеваемость по математике грозила мне оставление на 2-ой год в классе («второгодник» – кличка была позорная). Репетитор был взят отцом из студентов Томского политехникума, недавно открывшегося в Томске. В Университете было только два факультета: Медицинский и Юридический для оказания помощи «краю», т.е. Сибири. Студент, благодаря моей судьбе, оказался очень даровитым. Он заметил мою неспособность к механическому запоминанию и поставил дело на дальнейшее развитие фантазии, опровергнутой логикой. Именно он прямо заставил меня решать задачи из задачника Рыбкина по тригонометрии и геометрии. Когда же я стал возражать, говоря, что для этого надо знать

теорию, т.е. «зубрить», он отвечал: «Ну, она-то Вам и будет ясна из практики». Короче, я, минуя всякую схоластику и зубрежку, прямо начал под его наблюдением решать задачи, справляясь с теорией по мере лишь необходимости и беря из нее лишь то, что непосредственно нужно было для решения задачи и получения ответа, указанного в задачнике. Этот метод позволил мне познакомиться с теорией не путем зазубривания, а совершенно реально, как с ресурсом необходимости. Мои отметки по математике стали повышаться, возвратились 3, потом 4 и через год и 5. Я стал лучшим «решателем» задач в классе. Но хотя теорию (алгебры и геометрии) я знал, однако, все же не понимал ее внутренне: у меня уже стал появляться научный вкус.

Я хотел идти в инженеры, именно в морские, под влиянием Жюль Верна. Но в тогдашнем Петербургском Морском Училище надо было преодолеть «конкурсные экзамены»: на человека приходилось по 4-5 соперников. Будучи робким, я отказался идти на конкурс. Тогда отец посоветовал поступить на Физико-Математический Факультет, так как, после двухлетнего учения, молодые люди, сдав экзамены за 2 года, могли поступить в Морское Училище без конкурса. Это решило мою судьбу: я поехал в Москву и поступил на Математ. Отделение Московского Университета, из-за отвращения к математике, которой очень боялся и которую не любил, считая ее рядом «фокусов». Но на первой же лекции незабвенного проф. Николая Васильевича Бугаева я был буквально уничтожен до утраты сознания, где я находился. Профессор буквально сказал следующее (ex cathedra): «Поздравляю вас с поступлением. Вы, конечно, попшли сюда, движимые голосом сердца, по любви. И, конечно, вы хотите сдепатиться знаменитыми математиками. Так вот вам указание и рецепт: для этого надо за быть элементарную математику. И чем радикальнее вы ее забудете, тем больше преуспеете. Забудьте как можно полнее, до конца, иначайтте снова все заново: математика высшая есть самая высокая музыка, самое высокое искусство, это – гармония общих идей и интуиции». Я понял, что мне теперь не уйти от проф. Бугаева, пока я не пойму до конца то, что он обещал. И я остался, пройдя 2 года, еще на 2 года, чтобы окончить математическое отделение. Отвращение и страх к элементарной математике у меня до сих пор сохранились. Но я успокаиваю себя тем, что «это не наука».

Моя склонность к бесконечной фантастике и философии нашла пищу в теории функций. И это так обращало внимание, что и избран-то в Академию я был не на кафедру Математики, а на кафедру Философии. Только потом меня перевели, с освобождением кафедры после ухода акад. Успенского в Америку.

Вот Вам моя исповедь. Этого Вы не найдете нигде. Извините за длинное письмо.

Глубоко уважающий Вас Н. Лузин.

P. S. Имейте в виду, что время сейчас поистине гениальное и что личность Декарта, открывающего начала Новой Науки в офицерской палатке, нашему времени очень близка.

5.3. В.А. Костицын о себе и о других

В.А. Костицын после кончины жены Юлии Ивановны стал писать мемуары и дневник. Его мемуары (33 общие тетради) впоследствии посыпало в Москву, в ЦК КПСС (1963), и теперь они хранятся в РГАСПИ, поэтому и мы имеем возможность познакомиться с этими уникальными документами¹.

«Говорить мне не с кем», – из воспоминаний В.А. Костицына. «Мой французский дневник не удовлетворяет меня: страницка на каждый день едва достаточна для записи повседневной жизни и не дает возможности говорить о том, о чем хотелось бы, то есть о тебе, мое утраченное счастье, моя дорогая и верная спутница трудных дней. Мы с тобой сумели пронести сквозь тридцать лет совместной жизни нашу любовь нетронутой и незагятанной. К тебе обращаются все мои мысли, с тобой и о тебе мне хотелось бы говорить, как мы уже говорили в последние недели твоей жизни, во времяочных бдений, когда

¹ Фрагменты этих дневников опубликованы Н.А. Сидоровым и В.Л. Генисовым. Поскольку публикация В.Л. Гениса посвящена воспоминаниям В.А. Костицына о Комильянском лагере и не содержит характеристики интересующего нас периода московской жизни ученого, то приведем фрагмент из публикации Н.А. Сидорова по кн.: Российская научная эмиграция: Двалдатель портретов / Под ред. Г.М. Бонгарда-Левина и В.Е. Захарова. М., 2008. С. 28–45.

ты боялась засыпать, а я боялся тебя оставить одну. Были ночи, когда воспоминания наши шли с момента первой встречи, а в другие ночи мы говорили о настоящем, о счастье быть еще вместе, и о будущем, так как и ты, и я еще надеялись на будущее... Я хочу собрать все мои воспоминания о тебе. Говорить мне не с кем. Детали, которые мне близки и дороги, в других вызовут только скучу, а в других, даже в хороших друзьях, недоброжелательство, так как человеческая натура сложна и противоречий вней много. <...>

Вернуться нужно к маю 1918 года, хотя я в это время еще не знал тебя. Я приехал из Петрограда в Москву, в город, с которым в предыдущие годы был сильно связан и который очень любил...

К апрелю 1919 года стали выясняться мои университетские дела. Совет факультета меня избрал преподавателем по кафедре чистой математики, но прежде чем приступить к чтению, нужно было еще утверждение в должности Народным комиссариатом просвещения. Пришло и это утверждение. Я не медлил и с начала мая стал читать мой первый университетский курс по теории специальных функций. Слушателей у меня было немного, но они были толковые и постоянные...

Я помню, с каким чувством я присутствовал в первый раз на факультетском собрании и с каким уважением я смотрел на моих коллег, и нужно сказать, что они заслуживали уважения. С тех пор я перевидел много научных учреждений и научных деятелей в России и за границей. До моего вступления в преподавательский состав университета у меня бывало много раз критическое отношение к русской науке и к русским ученым. В русских газетах и журналах часто утверждали, что русские диссертации списаны с немецких учебников, что профессора, достигнув положения, перестают вести научную работу, что мое дело является в угоду власти. <...>

Мои грехи зависели главным образом от того, что я учился в Сорбонне в самое блестящее время, слушал лекции Poincare, Picard, Darboux, ученых с мировой репутацией, слушал и многих иностранных гостей, приезжавших в Париж и никогда не доезжавших до Москвы: Lorentz, Arrhenius, Volterra, Mittag-Leffler и т.д. Это ослепляло, и Москва, конечно, была более «про-